



**ЗИНАИДА ГИППИУС**  
**ЛАСКОВАЯ КОБРА.**  
**СВОЯ И БОЖЬЯ**

**Зинаида Николаевна Гиппиус**  
**Ласковая кобра. Своя и Божья**  
**Серия «Эксклюзивные биографии»**

*Текст книги предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=6654644](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6654644)*  
*Ласковая кобра. Своя и божья: АСТ; Москва; 2015*  
*ISBN 978-5-17-092305-2*

**Аннотация**

Поэтесса, критик и демоническая женщина Зинаида Гиппиус в своих записках жестко высказывается о мужчинах, революции и власти. Запрещенные цензурой в советское время, ее дневники шокируют своей откровенностью. Гиппиус своим эпатажем и скандальным поведением завоевала славу одной из самых загадочных женщин XX века, о которой до сих пор говорят с придыханием или осуждением.

# Содержание

Автобиография	8
«Точно внешние путы на мне всегда»	17
«Подумаешь! У всякого своя боль. Вот у меня кашель, например...»	20
«Никогда не приходила мне в голову мысль о любви...»	30
«Это я в яму захотела»	40
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# Зинаида Гиппиус

## Ласковая кобра.

### Своя и божья

*Есть люди, которые как будто выделаны машиной, на заводе, выпущены на свет Божий целыми однородными сериями, и есть другие, как бы «ручной работы», – и такой была Гиппиус. Но помимо ее исключительного своеобразия я, не колеблясь, скажу, что это была самая замечательная женщина, которую пришлось мне на моем веку знать. Не писательница, не поэт, а именно женщина, человек, среди, может быть, и более одаренных поэтесс, которых я встречал.*

*Г. Адамович*

Гиппиус (Мережковская) Зинаида Николаевна – поэтесса, беллетрист, драматург и литературный критик. Из обрусевшей немецкой семьи, предки отца переселились в Россию в XIX веке; мать – родом из Сибири. Из-за частых переездов семьи (отец – юрист, занимал высокие должности) З. Гиппиус систематического образования не получила, учебные заведения посещала урывками.

В 1889 году в Тифлисе вышла замуж за Д. С. Мережковского, с которым «прожила 52 года, не разлучаясь ни на один день». Вместе с мужем в том же году переехала в Петербург; здесь супруги Мережковские завели широкие литературные

знакомства и вскоре заняли видное место в художественной жизни столицы. Печататься начала в 1888 в «Северном вестнике». Вместе с Д. Мережковским, В. Брюсовым и др. явилась одним из зачинателей символизма.

В 1899–1901 Гиппиус тесно сотрудничает с журналом «Мир искусства»; в 1901–1904 является одним из организаторов и активным участником Религиозно-философских собраний и фактическим соредактором журнала «Новый путь», где печатаются ее умные и острые критические статьи под псевдонимом Антон Крайний. Становится ведущим критиком журнала «Весы».

В начале века квартира Мережковских была одним центром культурной жизни Петербурга, где молодые поэты проходили нелегкую проверку личным знакомством с Гиппиус.

События Революции 1905–1907 стали переломными в творческой биографии З. Гиппиус. После 9 января, которое, по словам писательницы, «перевернуло» ее, актуальная общественная проблематика, «гражданские мотивы» становятся доминирующими в ее творчестве. Гиппиус и Мережковский были непримиримыми противниками самодержавия, борцами с консервативным государственным устройством России.

К октябрьской революции 1917 Гиппиус отнеслась с непримиримой враждебностью, памятником которой стали книга «Последние стихи. 1914–1918» (1918) и «Петербургские дневники», частично опубликованные в эмигрантской

периодике 1920-х годов, затем изданные по-английски в 1975 и по-русски в 1982.

Ненависть к революции заставила Зинаиду Гиппиус порвать с теми, кто ее принял, – с Блоком, Брюсовым, А. Белым. Она описывается (наперекор Блоку, увидевшему в ней взрыв стихий и очистительный ураган) как «тягучее удушье» однообразных дней, как «скука потрясающая», хотя чудовищность этих будней внушала одно желание: «Хорошо бы ослепнуть и оглохнуть». В корне всего происходящего «лежит Громадное Безумие». Тем важнее, согласно Гиппиус, сохранить позицию «здорового ума и твердой памяти».

Художественное творчество Зинаиды Гиппиус в годы эмиграции начинает затухать, она все больше проникается убеждением, что поэт не в состоянии работать вдали от России: в его душе воцаряется «тяжелый холод», она мертва, как «убитый ястреб». Эта метафора становится ключевой в последнем сборнике Гиппиус «Сияния» (1938), где преобладают мотивы одиночества и все увидено взглядом «иду-щего мимо» (заглавие важных для поздней Гиппиус стихов, напечатанных в 1924). Попытки примирения с миром перед лицом близкого прощания с ним сменяются декларациями непримиренности с насилием и злом. Бунин, подразумевая стилистику Гиппиус, не признающую открытой эмоциональности и часто построенную на использовании оксюморонов, называл ее поэзию «электрическими стихами», Ходасевич, рецензируя «Сияния», писал о «своеобразном внутреннем

борении поэтической души с непоэтическим умом».

Символизм Гиппиус – это символизм той части дворянской интеллигенции, которая не приняла первых революционных бурь. В большинстве своих рассказов и повестей Гиппиус дает образ человека, теряющего почву, лишенного всякого смысла существования.

Умерла Зинаида Николаевна Гиппиус в Париже 9 сентября 1945.

# Автобиография

Семья Гиппиус ведет свое начало от Адольфуса фон Гингста, переименовавшего фамилию Гингст на фон Гиппиус и переселившегося в Россию (в Москву) в XVI, кажется, веке из Мекленбурга (герб фон Гиппиус – 1515 г.). Несмотря на такое долгое пребывание в России, фамилия эта до сих пор в большинстве своем – немецкая; браки с русскими не давали прочных ветвей.

Мой дед, Карл-Роман фон Гиппиус, был женат на москвичке Аристовой, русской. Первый сын их, Николай Романович, был моим отцом. Он очень рано окончил Московский университет и затем прожил, ввиду начавшегося туберкулеза, около двух лет в Швейцарии. Вернувшись, сделался «кандидатом на судебные должности» в Туле. В тот же год он познакомился с моей матерью, молодые братья которой тоже служили в Туле по судебному ведомству.

Дедушка мой по матери, В. Степанов, в то время уже умер; он был полицеймейстером в Екатеринбурге. Сам необразованный, он, однако, послал обоих сыновей в Казанский университет. После его смерти вдова с дочерьми переехала в Тулу, к сыновьям.

Бабушка с материнской стороны всю жизнь потом прожила с нами. В противоположность другой моей – московской – бабушке, Аристовой, которая писала только по-француз-

ски и не позволяла звать себя иначе, как grand'maman, эта до смерти ходила в платочке, не умела читать и даже никогда с нами не обедала.

В январе 1869 года мой отец женился и уехал в Белев Тульской губернии, где получил место. Я родилась в Белеве, в конце того же 1869 г., 8-го ноября, а через шесть недель отца опять перевели в Тулу, товарищем прокурора, и меня тетка везла всю дорогу, на руках, в возке.

С этих пор и начались наши постоянные переезды: из Тулы в Саратов, из Саратова в Харьков, причем каждый раз в промежутке мы бывали и в Петербурге, и в Москве, где подолгу гостили.

Я росла одна. Все с той же, вечной нянькой, Дарьей Павловой, а потом с бесчисленными гувернантками, которые со мною мало уживались.

В 1877-78 г. моего отца перевели в Петербург товарищем обер-прокурора Сената. Но мы прожили там недолго: туберкулез отца сразу обострился, и спешно был устроен его перевод опять на юг, в крошечный городок Черниговской губернии Нежин, на место председателя суда. Меня отдали было в киевский институт, но через полгода взяли назад, так как я была очень мала, страшно скучала и все время проводила в лазарете, где не знали, как меня лечить: я ничем не страдала, кроме повышенной температуры.

В Нежине не было тогда женской гимназии, и ко мне ходили учителя из Гоголевского лицея.

Через три года отец мой, все время прихварывавший, сильно простудился и умер (9-го марта 1881 г.) от острого туберкулеза. Умер молодым – ему не было еще 35 лет. После него осталось довольно много литературного материала (он писал для себя, никогда не печатал). Писал стихи, переводил Ленау и Байрона, перевел, между прочим, всего «Каина».

После смерти отца мать моя с детьми (в то время у меня было уже три совсем маленьких сестры) решила окончательно переселиться на житье в Москву. Средства оказались небольшие, а семья порядочная: с нами жила еще бабушка и незамужняя тетка, сестра моей матери.

Но и в Москве мы не прожили более трех лет: моя болезнь, в которой подозревали начало наследственного туберкулеза и благодаря которой я должна была оставить классическую гимназию Фишер (мать почему-то отдала меня туда, и гимназия мне нравилась), – эта болезнь заставила нас сначала переселиться в Ялту, а затем в Тифлис.

В Ялте мы прожили год, на уединенной даче А. Н. Драшусова по дороге в Учан-Су. Там у меня были только книги, занятия с сестрами да бесконечные писания – писем, дневников, стихов... Стихи я писала всякие, но шуточные читала, а серьезные прятала или уничтожала.

Еще при жизни отца я хорошо знала Гоголя и Тургенева. В Москве, особенно за последний год, перечитала всю русскую литературу и особенно пристрастилась к Достоевскому. Читала беспорядочно, и помогали мне кое-как разо-

браться только два человека: дядя с материнской стороны, живший у нас некоторое время (вскоре он уехал и умер от горловой чахотки), и учитель последнего года в Москве, Николай Петрович (фамилии не помню), которому я до сих пор благодарна. Он приносил мне новые книжки журналов, сам читал мне классиков, задавал серьезные сочинения. Помнится, что он писал тогда в «Русских Ведомостях».

Переехали мы из Ялты в Тифлис отчасти потому, что там жил второй брат моей матери с семьей, известный тифлисский присяжный поверенный, редактор им же созданного «Нового Обозрения». Меня, хотя я и поправилась, мать еще боялась везти на север, и сестры были слабого здоровья.

В гимназию поступать оказалось поздно (мне было 16 лет), я бы и не выдержала экзамена в последний класс – слишком бессистемны были мои знания. Умела заниматься тем, что нравилось, а к другому до странности была тупа.

Книги – и бесконечные собственные, почти всегда тайные, писания – только это одно меня, главным образом, занимало. Пристрастилась одно время к музыке (мать моя была недурная музыкантша), но потом бросила, чувствуя, что «настоящего» тут не достигну. Характер у меня был живой, немного резкий, но общительный, и отнюдь не чуждалась я «веселья» провинциальной барышни. Но больше всего любила лошадей, верховую езду: ездила далеко в горы.

Летом умер мой дядя. Следующее лето, 1888 года, мы проводили в Боржоме (дачное место около Тифлиса), и там

я познакомилась с Д. С. Мережковским.

Меня в то время тифлисская молодежь звала «поэтессой». Молодежь не университетского города – это или выпускные гимназисты, или офицеры. Но офицеры у нас не бывали, они мне казались более грубыми и тупыми, нежели гимназисты, с которыми мы вместе увлекались едва умершим Надсоном; многие из них, как и я, тоже писали стихи. К тому же это были все товарищи моего двоюродного брата, с которым я очень дружила.

Д. С. Мережковский в то время только что издал первую книжку своих стихотворений. Они мне не нравились, как ему не нравились мои, не напечатанные, но заученные наизусть некоторыми из моих друзей. Как я ни увлекалась Надсоном, – писать «под Надсона» не умела и сама стихи свои не очень любила. Да они, действительно, были довольно слабы и дики.

На почве литературы мы много спорили и даже ссорились с Мережковским.

Он уехал в Петербург в сентябре. В ноябре, когда мне исполнилось 19 лет, вернулся в Тифлис; через два месяца, 8-го января 1889 года, мы обвенчались и уехали в Петербург.

Стихи мои в первый раз появились в печати в ноябре 1888 г. в «Северном Вестнике», за подписью З. Г.

Вслед за нашим отъездом уехала из Тифлиса и моя мать с семьей, сначала в Москву, а потом в Петербург (где и скончалась в 1903 г.).

Дальнейшая жизнь моя в Петербурге, литературная деятельность, литературные круги, мои встречи и отношения с писателями за двадцать с лишком лет – все это могло бы послужить темой для мемуаров и мало годится для автобиографической заметки.

За все протекшие годы мы с Мережковским никогда не расставались. Много путешествовали. Жили в Риме. Два раза были в Турции, в Греции.

Отец Мережковского был довольно состоятельный человек (он умер глубоким стариком, в 1906 году), но, благодаря личным свойствам и множеству дочерей и сыновей, он мало помогал нам, и мы жили почти исключительно литературным трудом. Стихи я всегда писала редко и мало, – только тогда, когда не могла не писать. Меня влекло к прозе; опыт дневников показал мне, что нет ничего скучнее, мучительнее и неудачнее *личной* прозы, – мне хотелось объективности.

Первый мой рассказ «Простая жизнь» (заглавие изменено М. М. Стасюлевичем на «Злосчастная») был напечатан в 1890, кажется, году в «Вестнике Европы». Я писала романы, заглавий которых даже не помню, и печаталась во всех, приблизительно, журналах, тогда существовавших, больших и маленьких. С благодарностью вспоминаю покойного Шеллера, столь доброго и нежного к начинающим писателям.

Замечу, что европейское движение «декаданса» не оказало на меня влияния. Французскими поэтами я никогда не

увлекалась и в 90-х годах мало их читала. Меня занимало, собственно, не декадентство, а проблема индивидуализма и все к ней относящиеся вопросы. Литературу я любила нежно и ревниво, но никогда не «обожествляла» ее: ведь не человек для нее, а она для человека.

То «двойственное» мирозерцание, которое в конце 90-х годов переживал Мережковский («небо вверху – небо внизу», роман Л. да Винчи), никогда не было моим. Помню, что в этот период мы особенно горячо спорили и ссорились, так как я не могла принять «двойственности», но не умела определить, почему именно с нею не примирюсь.

Могу еще сказать, что полосы абсолютной безрелигиозности у меня не было вовсе. Зеленую детскую «бабушкину лампадку» скоро, конечно, заслонила жизнь. Но жизнь, стелкивавшая меня постоянно с тайной смерти, с тайной Личности, с тайной прекрасного, не могла перевести души в ту плоскость, где не зажигаются никакие «лампадки».

Наиболее яркими событиями моей (и «нашей») жизни последних лет я считаю устройство первых Религиозно-философских собраний (1901–1902 гг.), затем издание журнала «Новый Путь» (1902–1904 гг.), внутреннее переживание событий 1905 года и затем совместный наш с Д. В. Filosoфывым отъезд за границу, в Париж, где мы прожили больше трех лет.

Там издан был нами сборник на французском языке; из четырех статей мне принадлежали две: «О насилии» и «В

чем сила самодержавия».

В них я пыталась высказать, еще кратко, еще почти намеками, некоторые из мыслей, меня очень занимавших и важных для общего строя моего мирозерцания. Эти частные мысли впоследствии превосходно были поддержаны, развиты и дополнены более талантливыми друзьями моими, главным образом, Д. С. Мережковским, – даже как бы пересотворены им.

По совести должна сказать, что никогда не отрицала я влияния Мережковского на меня уже потому, что сознательно шла этому влиянию навстречу, – но совершенно так же, как он шел навстречу моему. Из этой встречности нередко рождалось новое, мысль или понимание, которые уже не принадлежали ни ему, ни мне, может быть, – «нам».

Так же, впрочем, шла я, шли мы, насколько умели, навстречу «влиянию» нашего друга Д. В. Философова и всех близких, о помощи которых я вспоминаю с большой любовью.

О себе лично писать и говорить почти нельзя. А судить себя, оценить себя в литературном или каком-либо ином отношении – нельзя совсем. Это дело других. Скажу только, что сама я придаю значение очень немногим из моих слов, писаний, дел и мыслей. Есть три-четыре строчки стихов: «... хочу того, чего нет на свете...»; «... в туманные дни – слабого брата утешь, пожалей, обмани...»; «Надо всякую чашу пить до дна...»; «Кем не владеет Бог – владеет Рок...»; «...

это он не дал мне – быть...» (о женщине). Если есть другие – не помню. Эти помню.

Вспоминаю еще жизненно-удачную мысль мою о нужности Религиозно-философских собраний, – наш журнал «Новый Путь»; вспоминаю мои слова «нельзя и надо» (смутная, но краткая и для меня ясная формула) по вопросу «насилия». Важна еще была мне мысль «о власти единого над многими», о самом принципе единовластия, вечном, общем, антирелигиозном принципе человека-героя, человека-хозяина...

Центр же, сущность коренного мирозерцания, к которому привел меня последовательный путь, – невыразима «только в словах». Схематически, отчасти символически, сущность эта представляется в виде всеобъемлющего мирового Треугольника, в виде постоянного соприсутствия трех Начал, неразделимых и неслиянных, всегда трех – и всегда составляющих Одно.

Воплощение этого мирозерцания в словах и, главное, в жизни – необходимо, и оно будет. Не под силу нам – сделают другие. Это все равно, – лишь бы было.

1914

## «Точно внешние пути на мне всегда»

Надо коснуться прошлого.

В 15 лет, на даче под Москвою, влюбление в хозяйского сына, красивого рыжебородого магистра (чего?). Впрочем, я о взаимности не мечтала, а хотела, чтоб он влюбился в Анету. При свете зеленой лампадки (я спала с бабушкой) я глядела на свою тонкую-тонкую детскую руку с узким золотым браслетом и ужасно чему-то радовалась, хотя уже боялась греха. Потом? Не помню. Долго ничего. Но такой во мне бес сидел, что всем казалось, что я со всеми кокетничаю, а и не с кем было, и я ничего не думала. (Наивность белая до 20 лет.)

Пропускаю всех тифлисских «женихов», все, где *только* тщеславие, примитивное, которое я уж потом стала маскировать перед собою, называя «желанием власти над людьми». В 18 лет, в Тифлисе, настоящая любовь – Jégôte. Он – молод, добр, наивно-фатоват, неумен, очень красив, музыкант, смертельно болен. Похож на Христа на нестаром образе. Ни разу даже руки моей не поцеловал. Хотя я ему очень нравилась – знаю это теперь, а тогда ничего не видала. Первая душевная мука. Кажется, я думала: «Ах, если б выйти за него замуж! Тогда можно его поцеловать». Мы, однако, расстались. Через три месяца, он, действительно, умер, от чахотки.

Эта моя любовь меня все-таки немного оскорбляла, я ведь и тогда знала, что он глуп.

Через год, следующей весной – Ваня. Ему 18 лет, мне тоже. Стройный, сильный мальчик, синие глаза, вьющиеся, льняные волосы. Неразвит, глуп, нежно-слаб. Отлично все понимала и любовь мою к нему презирала. Страшно влекло к нему. До ужаса. До проклятия. Первая поцеловала его, хотя думала, что поцелуй и есть – падение. Непонятно без обстановки, но это факт.

Относясь к себе как к уже погибшей девушке, я совершенно спокойно согласилась на его предложение (как он осмелел!) влезать ко мне каждую ночь в окно. (Мы жили в одноэтажном доме на тихой, пустой улице, напротив был сад.) Почему же и не влезать? Я ждала его одетая (так естественно при моей наивности), мы садились на маленький диванчик и целовались. Не знаю, что он думал. Но не помню ничего, что бы меня тогда оскорбило, испугало или хоть удивило. Ничего не было. А вот я один раз его испугала. После одного поцелуя (уж не помню его) он отшатнулся и прошептал боязливо:

– Кто вас научил? Что это?

Встреча с Дмитрием Сергеевичем, сейчас же после Вани. Отдохновение от глупости. Но зато страх за себя, оскорбление собою – ведь он сильнее и умнее? Через 10 дней после знакомства – объяснение в любви и предложение. Чуть не ушла от ложного самолюбия. Но опомнилась. Как бы я его

потеряла?...

С Минским тоже тщеславие, детскость, отвращение: «А я вас не люблю!» И при этом никакой серьезности, почти грубая (моя) глупость и стыд, и тошнота, и мука от всякого прикосновения даже к моему платью!

Но не гоню, вглядываюсь в чужую любовь (страсть), терплю эту мерзость протянутых ко мне рук и... ну, все говорить! горю странным огнем влюбленности в себя через него. О, как я была рада, когда вырвалась весной на Ривьеру, к Плещееву, из-под моих темных потолков.

(Плещеев – скучно, неважно.)

Зачем же я вечно иду к любви? Я не знаю; может быть, это все потому, что никто из них меня, в сущности, не любил? То есть любили, но даже не по своему росту. У Дмитрия Сергеевича тоже не такая, не «моя» любовь. Но хочу верить, что если кто-нибудь полюбит меня вполне, и я это почувствую, полюбит «чудесно»...

# **«Подумаешь! У всякого своя боль. Вот у меня кашель, например...»**

Минский, после всех разрывов, опять около меня. А я даже и в себя через него больше не влюблена. Держу потому, что другие находят его замечательным, тоже за цветы и духи. В бессильности закрываю глаза на грязь его взоров.

Червинский – другое.

После первого, полуслучайного поцелуя в дверях – я ужасно хорошо влюбилась. Было темно, я провожала Минского в третьем часу. От него недурно пахло, духами и табаком. (Душиться, говорят, дурной тон, но я люблю.)

Скользнула щекой вниз по его лицу и встретила с его нежными и молодыми губами.

Я дурно спала и улыбалась во сне.

Вот и отлично бы, а я не удовольствовалась. Как я знаю, что он ничтожен? А если нет? Если может не флирт – а любовь? Нет, не могу флирта. Стыжусь.

Он сказал мне раз, тоже в дверях: «Зина, пришло большое...» Нет, не верю. Не влюблена в его любовь.

Господи, как я люблю какую-то любовь. Свою, чужую – ничего не знаю.

Да, верю в любовь, как в силу великую, как в чудо земли.

Верю, но знаю, что чуда нет и не будет. Сегодня сижу и плачу целый вечер. Но теперь довольно. Я потому плакала, что Червинский написал несколько нежно-милых строк, а они так не шли к моему настроению, точно их офицер писал. Да и офицер их не написал бы, если б любил.

Хочу того, чего не бывает.

Хочу освобождения...

Я люблю Дмитрия Сергеевича, его одного. И он меня любит, но как любят здоровье и жизнь.

А я хочу... Я даже определить словами моего чуда не могу.

Не буду писать Червинскому. Слишком безнадежно. Я останусь одна со своим безумием.

Все наперекор себе, все наизнанку, боюсь грубого, отвратительного, некрасивого – а тут все грубо и некрасиво. Отдать свою душу не тому, чему хочешь отдать, – а чему не хочешь, вот где беспредельная гордость и власть.

И только для себя, потому что ведь никто не узнает, чем это было для меня. Я буду для других только одна из многих самоотверженных женщин. Любвеобильное, альтруистическое, женское сердце... Господи! Нет. Я сумасшедшая...

У меня много тоскливой, туманной нежности... Я так редко нежна...

Опять этот Минский, обедает у нас, ерзает по мне ревниво жадными глазами, лезет ко мне... Не могу. И не могу не

мочь.

Я улыбаюсь от злости.

У Репина было отвратительно скучно. Те, Шишкин, Куинджи, Манасеин, Прахов, Тарханов – старье, идолаы глупости. Тромбон – Стасов, Гинцбург, рожи-дамы...

Нет жизни, нет культуры.

Что бы сделать с собой?...

Нет красивых и чистых отношений между людьми (разве только духовными). Нет чуда, и горько мне, и все в темноте...

Я написала Червинскому письмо. Я сказала все, что думала. И как переменились мои мысли. Я говорила, что надо проститься, надо оборвать отношения сразу.

Просила прийти вечером, 17-го марта (ровно 4 месяца). Когда получила в постели записку с одним словом: «приду» (я не хотела других слов) – мне стало так жаль себя, что расплакалась. Но потом стыдно сделалось самой.

Плохо спала. Рано проснулась. Целый день ходила. Вечером поехала во Французский театр. И когда вернулась – была измучена и физически, и нравственно.

Он ждал меня. А я ничего не чувствовала, кроме досады.

Я знала, что мы расстанемся серьезно. Но теперь даже мне хуже, чем тогда.

Мучительный вечер! Этого человека я не понимаю. Не понимаю, любит он меня или нет. И он меня определенно не понимает.

(Например, он совершенно не понимает, что это не плохо, что я ему никогда не говорю «люблю». Чудесной, последней любви нет; так наиболее близкая к ней – неразделенная, т. е. не одинаковая, а разная с обеих сторон. Если я полюблю кого-нибудь *сама*; и не буду знать, любит ли он, – я все сделаю, чтоб и не знать, до конца. А если мне будет казаться... не захочу, убью его любовь во имя моей. Ведь все равно он не сможет *так*, как я. Вздор! Если полюблю – поверю, что сможет. Вера неотделима от любви. Да пусть. Поверю, а действовать стану по знанию, а не по вере...) Господи, дай мне то, чего мне надо!

Ты это знаешь лучше меня. Вся душа моя открыта, и Ты видишь, она страдает. Я не скрываю, что хочу много. Боже, дай мне много. То, подлое во мне, что, я слышу, шевелится – ведь Ты же дал мне. Ну, прости, если я виновата, и дай мне то, чего я хочу. Мне страшно рассердить Бога моими жалобами. И еще мне стыдно... Неужели это все – от жалкой причины отъезда Червинского?

Два слова о Минском. Я о нем здесь забыла. Это – другой человек. Что с ним? Он или так любит меня, что имеет силу, или вообще имеет силу. Если б он всегда был такой! И мое отношение к нему меняется. Ни отвращения, ни злобы.

Такая боль, что от нее слезы выступают на глаза, и она длится, и от продолготы боли теряешь сознание времени.

Не раненое ли это самолюбие? Не от самой ли боли и боль?

Я – и Червинский!

Жесткая боль, тесная боль, горячая боль. Так разве страдают от любви? Червинский прислал письмо из Венеции. Не распечатала его. Отдам ему. Вижу в письме на свет веточку ландышей и несколько слов: «Брожу растерянный, тоскующий... Какое было бы... Умоляю одну строчку... в Рим... Не могу ничего не знать о вас...»

Бедная веточка, бедные слова! Нет любви, нет ни у кого резкого, сильного, громового слова. О, если бы я любила!..

Успокой, Господи, мое сердце.

К лету я успокоилась и забыла о Червинском. Мы переехали в Лугу.

Я скучала, но у меня рождались новые, страшные мысли о свободе... Должно быть, не очень они были еще сильны тогда – бесплодные мысли!

С Минским я кончила тогда же, весной. Тоже как-то трусливо кончила, сама к нему ходила в Пале-Рояль, жалела, а потом забегала вперед и писала письма о разрыве. На последнее, решительное, он не ответил и уехал. Больше ничего о нем не знаю.

Зачем Червинский приехал к нам в Лугу? К маме? Но он мог бы подождать до осени. Не знаю.

Приехал в день нашего (меня и Дмитрия Сергеевича) отъезда по делам в СПб.

Я все-таки волновалась, укладывая чемоданчик. Цвела сирень, я чувствовала себя хорошенькой и свежей и думала: «А ведь он любит меня еще!» Я приходила и уходила, звеня ключами. Он сидел в столовой, черный, располневший, бритый...

В Петербурге он должен зайти ко мне (я просила).

Он пришел. Белый вечер, пустая квартира, Дмитрий Сергеевич, брат Николай.

– Я на минуту, – сказал Червинский, входя, – я занят.

Время шло, было неловко, но я вызвала его в другую комнату.

– Вот ваше письмо, я его не читала. Возвратите мне мое, последнее.

Он схватил бедное письмо, с той веточкой ландышей, и злобно разорвал его.

– Теперь я знаю, вы не могли ответить, вы не знали, как ответ мне был нужен. На это письмо нельзя было не ответить. Ваше я возвращу. Тогда я не мог...

– А теперь...

– Теперь оно мне больше не нужно...

Я сделалась кротка и печальна. Разве я не предупреждала его честно, что не буду отвечать на письма? Я говорила

о моих «мечтах», о боли... У меня почти нет враждебности к нему... Прежнее чувство неприкосновенно, все, что было... Разве можно изменяться? Мне нравилась моя роль – *résignée*. Не знаю, где кончалась искренность и начиналась ложь. Я волновалась.

Он ходил по комнате, желтый, мрачный.

– Вы бросаете другой свет... Но моя враждебность создавалась постепенно... Я так работал над собой... А теперь – кончим эту аудиенцию. Все сказано. (Это он – мне сказал, а я пишу).

Мы еще пили чай при белом свете. Я уже не могла выйти из роли покорной страдальицы. Я звала его в Лугу.

Уезжая, я оставила ему письмо. Зачем? О, эти мои письма! О, как они меня жгут, каждое, даже невинное, не содержанием, а самим фактом!.. Люблю свои письма, ценю их – и отсылаю, точно маленьких, беспомощных детей под холодные, непонимающие взоры. Я никогда не лгу в письмах. Никто не знает, какой кусок мяса – мои письма! Какой редкий дар! Да, редкий. Пусть они худы – даю, что имею, с болью сердца, с верой в слова. Из самолюбия писем не пишу, но после они обращаются на мое самолюбие, и я это знаю, и жертвую самолюбием – слову.

И в письме была правда, опять старая правда, только без надежд. Господи, прости меня за этих бедных деток, с которыми я так жестока порою! Устала.

Он приехал через месяц.

Я много писала в этот месяц, а главное, много думала. Мысли меня могут пополам разломить, если очень яркие. До Червинского они не касаются.

Но – факты.

Он приехал, я очень взволновалась, все забыла, кроме опять мелкого самолюбия, и сразу попала в покорный тон.

Он был довольно холоден и крайне равнодушен. Вечером я затащила (именно затащила) его к себе.

Я говорила опять о прошлом, он отвечал неохотно. О том, что он разлюбил – я упомянула вскользь, как о конченном деле; но сама думала: не может быть, ведь осталось же хоть что-нибудь.

То же было и на другой день. Только я была некрасивее от слабости и злобы (я ужасно некрасива, когда слаба и зла, и знаю это, и страдаю, и еще хуже тогда).

Я обещала ему отдать все его письма. Он точно обрадовался. После завтрака мы остались одни.

– Пойдемте гулять, – сказала я.

Помню свою батистовую кофточку, увядшую розу, белое покрывало и зонтик с большим шелковым бантом... Я опять говорила, мы сели на скамейку. Вдруг я заметила, что он не слушает. Что-то такое тупое было в его лице, что я испугалась. И, прервав себя, спросила его:

– О чем вы думаете?

– О чем я думаю? – повторил он машинально. – Так. Ни

о чем. О деревне думаю.

– О какой деревне? – спросила я почти с ужасом.

– Так, о деревне. Я скоро с ума сойду, – прибавил он, помолчав, с прежней безучастностью.

Замолчала и я.

Солнце сквозь ветви пятнами падало на его неподвижное лицо, на коричневый котелок, на скоробившийся пристеженной воротничок. Душу мою ело чувство без названия. Ужас? Стыд? Отчаяние унижения? Не знаю...

Минский в городе... Теперь мне все равно. Я жалею его. Я пожелала ему быть свободным и радостно одиноким, это единственное счастье. Только он этого не поймет.

Мысли о Свободе не покидают меня. Даже знаю путь к ней. Без правды, прямой, как математическая черта, нельзя подойти к Свободе. Свобода от людей, от всего людского, от своих желаний, от – судьбы... Надо полюбить себя, как Бога. Все равно, любить ли Бога или себя.

Я думаю, я недолго буду жить, потому что, несмотря на все мое напряжение воли, жизнь все-таки непереносно меня оскорбляет. Говорю без определенных фактов, их, собственно, нет. Боль оскорбления чем глубже, тем отвратительнее, она похожа на тошноту, которая должна быть в аду. Моя душа без покровов, пыль садится на нее, сор, царапает ее все

малое, невидимое, а я, желая снять соринку, расширяю рану и умираю, ибо не умею (еще) не страдать. Подумаешь, какая тонкость! Ах, недаром поэты меня отпевают. Пошло и сентиментально пишу. И вздор.

Господь даст мне силу недетскую, даст силу быть, как Он – одним. Свобода, ты – самое прекрасное из моих мыслей. Убью боль оскорблений, съем, сожгу свою душу. Тогда смогу выйти из пепла неуязвимой и сильной. Будет минута перед смертью, когда...

Я больна, кажется, серьезно. Может быть, мы поедem за границу. Надо ехать. Мои мысли так меня переломали. В них есть что-то смертельное. В моей этой «свободе». Боюсь, не хочу думать. Верно ли, если это смерть? А если и верно, то я для смерти еще слаба. Я еще живая, я хочу жить. Прости мне, Господи! Если я не должна хотеть жить.

И одиночество в мыслях меня тоже ломает. А они – должны быть одинокими. Письмо от Максима Ковалевского! Поедem, верно, на Ривьеру.

## **«Никогда не приходила мне в голову мысль о любви...»**

Что же это было? Пользование чужой любовью как орудием для приобретения власти над человеческой душой? Социдание любви в другом во имя красоты? Вероятно, все вместе. Пойдем сначала. Факты.

Я всегда радовалась его хорошему ко мне отношению. Мы были далеки – но я знала, что он ко мне – хорош. Потому радовалась, что думала, что это не «ради моих прекрасных глаз», а «ради моего прекрасного ума». Я возобновила знакомство (этой осенью) отчасти случайно, отчасти потому, что так все складывалось, я только не противилась. И дружба мне нужна была, мне было холодно. А Флексер всегда (и почему? почему?) казался мне человеком, которому все можно сказать и который все поймет. Я знала, что это не так, а между тем упрямая и бессмысленная человеческая слабость меня баюкала другим.

Я думала, что это человек – среднего рода. Иначе смотреть на него не могла. (Забыла сказать, что положение его при журнале тоже играло некоторую роль в желании моем возобновить «дружбу». Какую, большую или малую – не знаю, но хочу быть до конца добросовестной.) И вот – мы стали сближаться. Раз я даже сказала ему, что считаю его

среднего рода... к моему изумлению, он обиделся, и я поспешила его замять. Вскоре, однако, я поймала себя на кокетстве с ним. С ним!..

Мы много говорили о любви: само вышло. У меня были всякие мысли: уже помышляла о власти. И мне хотелось хоть видеть чистую любовь, без *определенных* желаний. Но все-таки я не кокетничала (или страшно мало), я бы призналась. Два-три задушевных вечера – и вот странные письма, которые меня взволновали (его письма, я почти не писала). Странно, но так: могу писать письма только к человеку, с которым чувствую телесную нить, *мою*. Говорю о хороших письмах, о тех моих «детях», в которых верю. (Телесная *нить* – это вовсе не какая-нибудь телесная связь, одно может без другого, наоборот). Но «сухой огонь» Флексера неотразимо пленял меня. Слово «любовь» незаметно вошло в наш обиход. Он говорил «слово» – я старалась объяснить ему мою истинную привязанность, мучилась, когда он не понимал, и тогда просто молчала. Иногда меня заражала его безумная любовь, неопытная и страстная, – он сам говорил, что она – страстная, но все повторял, что сам не хочет от меня ничего, не ради моих мыслей, а ради своих, которые тождественны. И я иногда бывала влюблена в эту его любовь.

Он обещал быть чистым всю жизнь, как я. Не скрываю, что это меня побеждало. Это толкало меня вперед...

Живет ли тот, кого я могла бы хотеть любить? Нет, я ду-

маю. И меня нельзя любить. Все обман.

Летом я иногда скучала о Флексере, когда он уезжал. С во дворением в городе – стена перед глазами. Резюмируем при чины.

Я вижу, что больше того, что я с ним достигла, – я не до стигну. «Чудесной» любви он не вместит, власти особенной, яркой – я не имею; не в моем характере действовать из-за каждой мелочи, как упорная капля на камень; я люблю все быстрое и ослепительное, а не верное подпольное средство. Он уступает мне во всем – но тогда, когда я устану, брошу, забуду, перестану желать уступки. Я не хитрая, а с ним нуж на хитрость. Затем: он человек антихудожественный, не тон кий, мне во всем далекий, чуждый всякой красоты и мое му Богу. (Ведь даже и в прямом смысле чуждый моему Бо гу Христу. Я для него – «гойка». И меня оскорбляет, когда он говорит о Христе. Ведь во мне «зеленая лампадка», «жи тие святых», бабушка, заутреня, ведь это все *было* в темноте прошлого, это – *мое*.)

Я привычливая, но я холодно думаю о разрыве. Чужой, и теперь часто противный человек...

Не хочу никакой любви больше. Это валанданье мне на доело и утомительно.

Я – виновата. Не буду же просить подставить мне лестни цу к облакам, раз у меня нет крыльев. Аминь.

Я написала стихи «Иди за мной», где говорится о лилиях. Лилии были мне присланы Венгеровой, т. е. Минским.

Стихи я всегда пишу, как молюсь, и никогда не посвящаю их в душе никаким земным отношениям, никакому человеку.

Но когда я кончила, я радовалась, что подойдет к Флексеру и, может быть, заденет и Минского. Стихи были напечатаны. Тотчас же я получила букет красных лилий от Минского и длинное письмо, где он явно намекал на Флексера, говорил, что «чужие люди нас разлучают», что я «умираю среди них», а он «единственно близкий мне человек, умирает вдали»...

Письмо меня искренно возмутило. Мы с Флексером написали отличный ответ: «Николай Максимович, наше знакомство прекратилось потому, что оно мне не нужно...» Ведь действительно он мне не нужен.

Но интереснее всего то, что я, через два дня, послала Минскому букет желтых хризантем. Я сделала это потому, что нелепо и глупо было это сделать, слишком невозможно...

Мне жалко Флексера... И всегда я с ним оставалась чистой, холодной (о, если б совсем потерять эту возможность сладострастной грязи, которая, знаю, таится во мне и которую я даже не понимаю, ибо я ведь и при сладострастии, при всей чувственности – *не хочу* определенной формы любви, той, смешной, про которую знаю). Я умру, ничего не поняв.

Я принадлежу себе. Я своя и Божья.

Разрыв с Флексером совершился, наконец, этой весной.

Тянулась ужасная зима (96–97 гг.), ужасная по уродливым и грубым ссорам, глупо грубым и уродливым примирениям. (Не от меня шли примирения)...

Весной появился доктор. Не знаю, зачем он пришел. Кажется, чтоб друга своего со мною познакомить, безразличного какого-то юриста в летах. Это, вместе со страшными литературными недоразумениями (я отказалась печататься в «Северном вестнике» из-за уродства Флексеровых статей) – послужило толчком к разрыву. Еще совсем весной мы делали вид, что в дружбе... но мы были уже обозленные враги.

Я обманывала его, стараясь избавиться от него каждое после-обед. Обманывала, выдавая с Венгеровой в женском обществе и потом переписываясь с нею, обманывала, говоря ему, и почти не слыша их, нежные слова (мало слов!) и принимая доктора, который мне совершенно не нужен.

Однажды Флексер, проведя несколько часов, в белый вечер, у моего подъезда, – «выследил» доктора! Это меня взорвало. Думаю, и сам Флексер уж тяготился нашими отношениями, тут на сцене история с его поездкой в Берлин по делам, причем он говорил, что если я не хочу – но тоже неуверенно, с боязнью, что он останется.

Светлая ночь 17-го мая. Еленинский сад. На душе – пыль и великое томление. Мы говорили грубо и гадко.

– Так вы рвете со мною? Это бесповоротно?

– Я – не рву иначе, я вам говорила.

– Вы... вы раскаетесь. Я такой человек, который никогда не будет в тени.

– Очень рада за вас. Сожалею, что не могу сказать этого про себя.

Мы встали и пошли. Я должна была быть в 101/2 у Шершевского на Сергиевской. Ночь была теплая, мутно-светлая, пыльная и чуждая. Я убедилась в разрыве и была, как всегда, спокойна перед его психопатией.

У двери Шершевского он сказал:

– Так мы расстаемся?

– Так мы расстаемся? – повторила я.

– Да... не знаю... Ничего не знаю...

– Но ведь я же вас очень люблю...

И, верно, не особенно много было любви в моем лице и голосе, потому что весь он съезжился, точно ссохся сразу, и посмотрел на меня почти ненавистническими, растерянными глазами. Я почему-то подумала:

– Боже мой! Сколько раз эти выпуклые глаза с красными веками плакали передо мной от злобы и жалкого себялюбия жалкими слезами! И он считал их за слезы любви!

Я повернулась и вошла в подъезд. С тех пор я его больше не видала.

Оказывается – он ждал меня на другой день! Недурно! Через день было письмо. Потом еще и еще. Одно было хорошее

– а следующее! «Пишите мне в Берлин, поймите вопль моей души, и я – я вернусь к вам!»

Это он – мне! Я плакала злыми, подлыми слезами от отращения к себе за то, что я *могу* этим так оскорбиться.

На другой день после этих слез – неистовая радость охватила меня. Нет боли, которой я боялась! Никакой боли – и я свободна! Радость была постоянная, легкая, светлая, почти счастье, как в детстве на Пасхе.

Я уехала в деревню. Тишина и ароматы обняли меня... И так я жила, с этими запахами и светами, радуясь не думать, только – свободная.

Там был сын помещицы, купчик, не кончивший военного училища, примитивный, но обожающий свои поля и леса, и эту быструю езду: он ездил каждый день со мною, вместе мы видели разные светы неба, и туман полей, и далекие полосы дождя. Какой он был? Кажется, красивый, но толстый, большой, хотя и не грузный, да я не видела лица – лицо природы. Я не судила его, он был часть всего, как и я – равный мне в этом...

Господи! Это все неловкие слова, по ним нельзя понять, что такое для меня, после всей жизни, значили слова: признать себя обыкновенной женщиной, сделать себя навсегда в любви, как все. Около этой мысли – какой сонм страхов, презрений, привычек...

Я была все-таки в безумии, решаясь подчиниться желанию тела. И ничего не узнала. Как это отделять так тело от

души? А если тело – *без души* не пожелало? Вот и опять все неизвестно.

Я стала спокойнее, свободно-покорнее и тверже. Еще прошлой осенью – какой надрыв – мой «подвиг»! Конечно, ошибка, но не каюсь, и она была нужна.

Моя нежность, мое чувство ответственности, мое желанье силы в другом – остались; но веры нет, а потому разлад души и некоторое недоумелое стояние. Что же, мыслям изменить? Отказаться от последних желаний тела и души во имя того, что есть и что не нравится? Этой жертвы просит моя человеческая жалость к себе, моя нежность, моя слабость. Но смею ли?

Я даже не знаю, все ли я сделала, что могла. Если не все, то – доколе, о Господи? Ведь могу перейти границу своих сил и сама упасть в яму. Опять Таормина, Рим, Флоренция. И как все различно! Иногда я так была слаба, так хотела не того, что есть, что заставляла себя не думать, не видеть. Мне стыдно было видеть, стыдно за свою неумирающую нежность – без веры...

Жестокость – не крепость, а полуслабость. Жестокой легче быть, чем твердой и мудрой. Неужели я с... кончу жестокостью – а не трудной и тихой мудростью – если решу?

А все-таки не знаю, нужна ли плоть для сладострастия. Для страсти, т. е. для возвращения в жизнь – да (дети). А

сладострастие – одно идет до конца...

Весь смысл моего поцелуя – то, что он не ступень к той форме любви... Намек на возможность. Это – мысль, или чувство, для которого еще нет слов. Не то! Не то! Но знаю: можно углубить пропасть. Я не могу – пусть! Но будет. Возможно. До небес. До Бога. До Христа.

Мне стало страшно. Как говорю? Здесь, в этой «яме»... Да в том-то и дело, что все изменилось и теперь место, где говорю о своем теле, о сладострастии, о поле, об огне влюбленности – для меня, для моего сознания, уже не проклято, не яма.

Не отрицаю своей мерзости, своего ничтожества. Идеал Мадонны – для меня не полный идеал. Я теряюсь, как человек, из-под которого выдернули стул. Только в одном, единственном, углу моей комнаты – светло. И это – мое, и это последнее, но хочу, чтоб оттуда на всю комнату был свет. И будет.

Любить меня – нельзя...

Я ни к кому не прихожусь. Рассуждаю, а в сердце зверь и ест мое сердце. Не люблю никого, когда у меня боль. Не люблю – но всех жалею. Жалко и Философова, который в такой тесной теме, жалко бедных людей, которые приходят, надеясь, – и ничего не получают, ни от себя, ни от нас. Их, впрочем, меньше жалко (меньше всех Гиппиуса) – чем Философова. Они как-то больше ждать могут; а ему бы сейчас надо. Да вот нет. Не могу ему помочь, он меня не любит и

опасается.

Именно *опасение* у него (а не страх), мелкое, примитивное, житейское. Я для него, в сущности, декадентская дама, подозрительная интриганка, а опасается он меня не более, чем сороконожки. Да, может, это все и есть во мне, но жаль, что он лишь на это во мне реагирует. Жаль для него. А может, я к нему несправедлива? Может, у меня раздражение? Не хочу раздражительности, не знаю ничего наверное. Только досадно, что надо жалеть. Там он пропадет, ну конечно. Для меня все ясно. Надо сделать, что могу. У меня были такие мысли – да что я о Философове? Ни мысли, ни *эти* планы не для тетради «амура». Впрочем, ведь принцип ее изменен. Я еще не привыкла. И пока – ничего не надо. И сегодня – такое голое, такое слишком личное во мне страдание.

Переживем, решим – в безмолвии.

## «Это я в яму захотела»

Я сделана для выдерживания огненных жал, а не слепого, тупого, упорного душения. Но так надо. Малодушно, изменно, не нравится мне закрывание глаз, самоослабление для Главного. Это вопрос – быть ли Главному, и вопрос мой, потому что – быть «ему» или не быть – в моих руках, это знаю.

Господи, как хочется смириться, отдаться течению волн, не желать, а только верить, что другие больше тебя желают, не идти – а только чтоб тебя несли! Сказать себе: ну что я могу? Это самообольщение, гордыня! Пусть другие, они сильнее. А я слаба. Все равно ничего не будет, что бы я ни делала. При чем – я? Моя воля?

Да ведь это и правда. Люди меня не любят, не верят, боятся, – я не могу им помочь, а они – мне. Что же я напрасно ломаю себя – или ломаюсь? Ведь это смешно...

Вздор. Грех. Стыд. Ложь. Лучше молчать, чем так говорить.

Это я в яму захотела.

Страшно мне, как всем, яма соблазнительна. Так мягко лежать... В браке все-таки сильнейший духом ведет за собою слабейшего, а там, где брачное извращение – дух обмирает у сильнейшего и над ним властвует слабый и пошлый. На это обмирание и безволие духа жутко смотреть, но нельзя не видеть. Тут какая-то тайна. Надо над этим подумать.

Я думаю, что никогда не решу чувством, да это и невозможно!

Но надо поступать так, как будто решила. Потому что ведь я шага не могу сделать, ни одного! В себя веры не будет – ну и силы не будет.

А теперь довольно. Опять безмолвие. Время бежит, все равно недолго.

Все равно что-нибудь будет.

Все-таки мне кажется порою, что даже и помимо... я ничего не могу, никому из людей не могу помочь. Ни они мне. У них в корне другие желания. На примере пола будет яснее. То есть любви.

Люди хотят Бога для оправдания существующего, а я хочу Бога для искания еще несуществующего (вероятно). Людям совсем бы хорошо было с их страстью, в их формах, с их любовницами и любовниками; да только беспокойно – не грех ли? Они зовут Бога, чтобы Он пришел к ним, где они, и сказал: «Нет, не грех; а коли и грех – прощу, за то, что вспомнили Меня и позвали. Не беспокойтесь». А мне некуда звать Бога, я в путешествии. Нет подходящего мне дома, в котором хотела бы *вечно* жить; я сама хочу идти к Богу; там, впереди, ближе к Нему, есть, верю, лучшие дома – их хочу. И оправдания мне ни для чего не нужно. И это абсурд – оправдание. Оправдания настоящему хочешь, только когда намерен длить его, неизменно; значит – оправдания стоянию? Его не может быть. А оправдания прошлому – уже

есть, если есть хотенье движения к изменности. Но это – как бы «прощение». Значит, оправдания вообще никакого нет, и слова этого нет. Гиппиус все толкует о «любви» к жизни. Детство. Не о чем толковать. Ну *конечно*, мы любим жизнь. Даже стыдно об этом, как стыдно говорить, убеждать, что свою мать любишь. Не русский Гиппиус, не стыдливый. Любим, любим, ведь это же исходная точка, – но ведь это именно *исходная точка!*

Д. С. тоже как бы в путешествии, и хочет идти, но ведь он ничего в себе не знает, и не смотрит, а уж в «специальном»-то своем смысле – совсем ничего не знает! Даже я о нем ничего не знаю. То так верю – то иначе. То есть словам всем верю, а его существа иногда не угадываю. Закрыто оно – и для него. Но сила ли это? Не слабость ли – мои психологии? А уж Философов-то, наверно, хочет для «оправдания»! Вся его неудовлетворенность только из этой точки. Впрочем, всякий человек – тайна. Может и так быть: желание оправдания лежит сверху и закрывает другие желания. Если исполнить это верхнее желание, или как бы исполнить (чтоб самому человеку почудилось, что оно исполнилось) – то оно и растает, и откроются другие желания – ежели они есть. (Все-таки, думаю, не у всех они есть.) О Философове – то знаю, то не знаю, есть ли; но возможно, что есть, поэтому я так хотела бы зажечь свечку около этого верхнего желания: пусть растет. Пусть ему будет «оправдание». А там посмотрим. Лицо Божье – все-таки Лицо Божье, даже если мы Его к себе зо-

вем. Все-таки возможность спасения – для нас и для него. Да и люблю его.

Остальные мне дальше, непонятнее, *неприятнее*. Потому пойду прежде всего к Философову, если... да я все забыла! Если? Никуда не пойду и сама упаду, нет решения – нет ни свободы у меня, ни силы.

Главное – не ныть. Не размазывать своих «страданий». Подумаешь! У всякого своя боль. Вот у меня кашель, например. И у других, наверно, кашель. Не хочу жаловаться на... кашель.

Беда в том (или не беда?), что все во мне, как и в мире, так связано и спутано, что поневоле переходишь несуществующие границы, и с... порвать – вовсе уж не *так* больно; не правда ли? Порвать с тем, кого люблю меньше, для Того, Кого люблю больше, – да ведь это только естественно! Коли нельзя соединить – никого из двух не стану обманывать, а выберу, и ведь по *своему* желанию! Ну так о чем же? Моя Нежность – скажите пожалуйста! Ей ли помешать мне действовать согласно Главному желанию? И силы даже тут никакой не требуется...

Мне отныне предстоит путь совершенного, как замкнутый круг, аскетизма. Я знаю соединенным прозрением моего тела и духа, что путь этот – неправда. Глубокое знание, что идешь неправедным путем – несомненно, тихо, но верно –

обессилит меня. Не дойду до конца, не дам свою меру. Это уже теперь, когда думаю о будущем, давит меня. А теперь еще так много живой силы во мне. Я уйду в дух – непременно – и дух разлетится, как легкий пар. О, я не за себя страдаю! Мне себя не жаль. Мне жаль То, чему я плохо послужу.

Выбрала бы и другой путь – да нет другого. Даже и говорить не стоит, и так видно, что нет.

Иногда мне кажется, что есть, должны быть люди, похожие на меня, не удовлетворенные формами страсти, ни формами жизни, желающие идти, хотящие Бога не только в том, что есть, но в том, что будет. Так я думаю. А потом я смеюсь. Ну, есть. Да мне-то не легче. Ведь я его, такого человека, не встречу. А если встречу? Разве чтоб «в гроб сходя благословить». Ведь через несколько лет я буду старухой (обозленной прошлым, слабой старухой). И буду *знать*, что неверно жила. Да наконец, если теперь, сейчас встречу – разве поверю? И полюблю, так до конца буду молчать, от страха, что «не тот», и он, если похож на меня – так же будет молчать. Впрочем, нет. Ведь это может быть, это чудо, только в Третьем, а что он мне скажет – я не знаю. Его голоса я еще не слышала. И что я рассуждаю, опасаюсь, жалуясь? Будет так, как надо. Не моя воля. Не по моей воле течет во мне такая странная, такая живая кровь. Для чего-нибудь, кому-нибудь она нужна. И пусть же Он делает с нею, что хочет. И с силами, которые дал мне. Я только буду правдива. Грех только один – самоумаление. Вижу, как гибнут от него те, кто могли

бы не только себя спасти, но и других. И вянут, вянут бедные цветы... Как им сказать? Как им помочь? Ведь и я не сильна, пока одна.

Зима. В самом начале 1902 года в моей жизни (во всей) случилось нечто – внутреннее, хотя фактическое и извне пришедшее, – что меня в одно и то же время и опустило, и подтянуло, – но и выбросило куда-то к людям, в толпу. А еще раньше этого я очутилась среди людей новой среды, к которым присматривалась все время с моей новой точки зрения (до чего далекой от «любвей»! И очень близкой к... любви; ну просто *нет*, я вижу, слов). Короче, реальнее, уже. К нам в дом стали приходить священники, лавриты, профессора Духовной Академии, и между ними два, молодые, чаще других.

Из всех заметнее был Карташев, умный, странноватый, говорливый на Собраниях: сразу как будто из того лагеря перешедший в наш, в наши мысли. «Мысли»! Вот чего я не хочу здесь, а не обежишь, потому что если у меня было в это время что-нибудь в душе – то лишь они одни. И не выдержишь из последующего. Но буду их часть показывать, прилегающую к «узости».

Д. С. читал у нас в средней комнате свою статью о Гоголе и когда говорил о мертвом, узком, остром лице Гоголя – я вдруг *увидела* Карташева. Совсем такое же, похожее, лицо. Он сидел низко, на пуфе. Вскоре после того секретарь Собраний сказал мне: «Я сегодня просил Карташева заехать за

вами (деньги нужно было собирать), но он отказался, говорит – еще ни с одной женщиной на улице никогда не был. Заеду я за вами». Смеется.

У меня мелькнула мысль: а ведь эти странные, некультурные и как будто жаждущие культуры люди – ведь они девственники! Они сохранили старое святое, не выбросили его на улицу, не променяли на несвятое – быть может, ожидая нового святого? Быть может, среди них есть... Ну и т. д. Вечером присмотрелась к нему и ближе коснулась – вообще – «мыслей». Что-то есть... Чего-то нет... Или не знаю? Осторожность...

Но тут наступил январь, и моя выброшенность во мне, жажда *сейчас* всех людей *во всем*. Другой профессор, Успенский моложе и весь не то теленок, не то ребенок – и «кутейник» с виду; но они у меня оба почему-то неотделимо бывали, чем-то (новостью среды?) слитые, но я на Успенского почти не обращала внимания, так, «второй».

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.